



## Соленое Черное море



Мария смотрела на дочь, едва скрывая презрение и брезгливость. От этого ей было даже слегка неловко, но... Ничего поделать с собой она не могла. Бестолковая дочь вызывала именно такие чувства. А еще — жалость и разочарование.

Люська же сидела у окна замерев, почти не дыша, вытянув тонкую белую шею. Пожалуй, не было такой силы на свете, которая оторвала бы ее от этого занятия. Впрочем, это было не то чтобы занятие — это был смысл Люськиного существования. Подждать этого.

Днями, ночами — как уж сложится. А складывалось по-разному. Этот — а иначе Мария его не называла — мог явиться и поздно вечером, и далеко за полночь. А мог и «утречком», как говорил он сам. То есть часов в семь, особенно по выходным, когда все приличные трудящиеся люди имеют право на заслуженный сон. Загадывать было сложно.

Этот — по паспорту Анатолий Васильевич Ружкин — был хозяином своей жизни. Да ладно бы своей... Он был хозяином и ее жизни, Люськиной, — жалкой, животной, убогой, — вот в чем беда!

Люська жила от прихода до прихода Анатолия Ружкина. А в промежутках как будто спала. Вот и сейчас, услышав стук подъездной двери, чуть привстала, вся подалась вперед, на шее набухли голубые вены, белую кожу залила яркая краска и... Она застыла.

В дверь никто не позвонил. Люська снова опустилась на табуретку, и алая краска моментально сошла с ее острого, худого, измученного лица. Теперь она была мертвенно-бледной — побелели и сжались в полоску даже тонкие Люськины губы.

Мария встала со стула, громко крикнула и шарахнула чашкой об стол.

Люська вздрогнула, глянула на мать и тут же отвела отсутствующий, почти неживой взгляд.

Мария тяжело подошла к окну и задернула занавески. Люська метнулась и занавески отдернула.

Мария встала над дочерью, уперев руки в бока, — крупная, почти огромная, — она возвышалась над тощенькой, хилой Люськой, и ее взгляд не обещал ничего хорошего.

Тихо, почти умоляюще дочь произнесла:

— Мама! Пожалуйста, не надо!

Мария громко вздохнула, со стуком передвинула стул и, болезненно скривившись, махнула рукой.

— Ну валяй, бестолковая! Ты ж у нас на помойке найдена!

Люська тоненько завывала, и Мария, тяжело перебирая полными больными ногами, вышла из кухни прочь.

Ничего не поделаешь, только последнего здоровья лишишься. Слабая эта дурочка — ни характера, ни гордости, ничего от Марии. Ветром сдувает — сорок три кило удельного весу. А ведь уперлась!

И кто бы подумать мог! Вот чудеса. Не прошибешь и не сдвинешь. Вот она, кровь Харитиди!

Только бы не для этого случая... Вот в чем беда.

Мария вошла в комнатку и тяжело опустилась на стул. Ходить тяжело, дышать тяжело, жить тяжело. Все тяжело. Такая тоска на сердце... Хоть волком вой. И такая тоска от бессилья — ничего не может исправить, ни на что повлиять. Всю жизнь все могла, а тут... Словно лишили ее, Марию, ее магической силы. Со всеми бедами справлялась, как бы ни было тяжко. А Пигалица эта, сопля килограммовая. Всю жизнь — мамочка, как скажешь, мамочка, как ты хочешь!

А тут рогом уперлась, и хоть бы что. Ни страдания материны, ни сплетни, ни пересуды по городку — ничего не берет эту дуру. Как опоили!

Мария ходила к гадалке — живет такая ведьмака в соседнем поселке. Чистая баба-яга. Злая, резкая, зыркнет — сердце падает в пятки. Марию так просто не купишь — взгляд ведьмакин вынесла, не моргнула. Не на ту напали! Ведьма это почувствовала и даже предложила

чаю. Мария отказалась — чай пьют с друзьями и с соседями, а я тебе, старая, деньги принесла. Да и не до чаев мне, беда у меня большая.

Ведьма прищурилась и рассмеялась неожиданно молодым и звонким смехом.

— Вот это беда? Глупая ты! — А потом грустно добавила: — С таким тут приходят, а ты....

Как укорила — время вроде бесценное отнимаешь.

Не понять ей — бездетная. Не понять, что, когда твое дитя пропадает — для матери это горе! И неважно, от чего пропадает это самое дитя!

Но — деньги-то плачены! — карты раскинула, кофе черный заварила, выпить заставила. Долго изучала дно чашки, а потом, вздохнув, объявила:

— Никакого приворота тут нет. Да и кто его сделает, если не я? А ко мне «по данному вопросу никто не заявлялся». А что «присушил» — так это бывает! — она хитро прищурилась. И снова дробно и звонко расхохоталась: — А у тебя что, такого не было?

Мария устало махнула рукой.

— Да при чем тут я? Не обо мне речь! Моя жизнь прошла! А тут — дитя! Единственное! Рожденное поздно, я уже и не ждала! Нет больше горя для матери, чем вид горемыки-ребенка!

Ведьма посерьезнела и строго спросила:

— Горемыка, ты говоришь? А вот это, милая, не тебе решать!

Разозленная Мария, не попрощавшись, пошла к двери.

Гадалка крикнула вслед:

— Деньги свои забери! Не было у меня с тобой работы!

Мария, не обернувшись, махнула рукой.

— Да подавись ты! Будешь еще мне указывать!

— Советовать! — поправила ведьма. — Не лезь в это дело. Ничего у тебя не выйдет, — тихо добавила она. И твердо повторила: — Ничего! «Любовь» это все называется. Поняла?

Мария вышла во двор. «Ну а вот это мы еще посмотрим! Видели мы таких. Умных и прозорливых».

Только громко хлопнув калиткой и спустившись по улице вниз, она остановилась отдышаться. Чертов вес, чертово наследство. Чертовы гены.

Чертова жизнь! Мать рождает дитя на счастье! А видеть, как гибнет ребенок...

Нету чернее горя. Нет.

\* \* \*

Если подумать, вся жизнь Марии была сплошным испытанием. С самого детства.

Мать ее, красавица Татьяна, утонула, когда девочке исполнился год. Родилась на море, прожила всю свою короткую жизнь на море и — утонула. Местные тонули нечасто — только если по пьяни. А молодая женщина была трезва как стекло. Говорили, мол, сердце больное. Какое больное в восемнадцать лет? Отец, Харлампий, обожавший жену, к дочке не подходил лет до трех, отдав

ее на воспитание своей старшей сестре, Марииной тетке Христине.

Тетка была задерганной, нервной — своих трое по лавкам, а тут еще и чужая девочка. Ну, не совсем чужая... Только Таньку, свою невестку, она не любила. Считала, что околдовала брата, белобрытая стерва. Вот ее бог и наказал. Грешно так говорить, а ведь правда!

И невесту уже брату сосватали — из Краснодара привезли. Хорошая семья, не нищие, да и невеста с лица приятная. Из своих, из греков. А тут она, соседка, подвернулась. Весь поселок за ней табуном — как с ума посходили. И братец первый. Высох весь, почернел. Потом поженились — не свадьба была, а поминки. Все Харитиды рыдали. Любимый сын, гордость родителей, а тут такое!

Шалава безродная. Нищая. Правда, красавица — ничего не скажешь. Волосы спину закрывают, глаза голубые. Тощая, однако. Какая из нее работница? Смешно. А уж про семью и говорить нечего — папаши нет как не было, а мать, Зойка, на приеме стеклотары — с утра глаза зальет, и анекдоты с матюками на всю улицу. Хороша родня! Врагу не пожелаешь. Танька-то, правда, тихая была, не скандальная. И мамы своей стеснялась.

Только все это утешение слабое. И простыня в крови после первой брачной ночи — как положено у честных людей — тоже.

Чужая. Чужее не бывает. Хлопотливые сестры Харитиды весь день у плиты, у корыта и при детях. А эта? Ни косые взгляды, ни замечания старших ее не беспоко-

ят. Сядет под черешней на лавочке и — читать. Книжки замусоленные — из библиотеки. Про любовь, не иначе. А этот дурак с работы придет и поест забываает — сядет возле нее и по ручке гладит.

А сестры и невестки судачат, перешептываются. А в душе завидуют! Никому из них не выпало такой любви и такого счастья. Ни одной! Вот и злобствуют — черные, как галки. Волосы жесткие, словно проволока. Носатые. И волосам ее шелковым завидуют — текут по спине как река, переливаются. А Харламий эти волосы гладит и рукой перебирает. Огромной своей черной ручищей, взглянешь — и то страшно.

Не приняла родня молодую жену Харлампия. Ни красавицу жену, ни веселуху тещу. А теща и вправду была развеселая. Особенно после стакана. Нет, горькой пьяницей Зойка-приемщица не была. А вот выпить любила. Пила сладкий портвейн «Южный», закусывая подгнившим персиком. Когда-то и Зойка считалась красавицей... Правда, до дочки ей было как до луны. От кого родила она Таньку, Зойка, похоже, и сама не помнила. А шлейф ее молодых загулов все тянулся и тянулся, падая черной тенью на репутацию дочери. Да и сейчас у Зойки было полно кавалеров. Правда, таких, что и говорить не стоит. Домишко Зойки стоял аккурат напротив огромного, крепкого дома Харитиды — одна улица, утопающая в зелени пирамидальных южных тополей, душистой акации и нагло выпирающих из-за заборов разлапистых георгинов и разноцветных душных флоксов.



Домик Зойке достался от родителей, сбежавших после войны из голодного Поволжья. Уже тогда, в далекие пятидесятые, домик был неказист и продуваем острыми и колючими зимними ветрами. Старик-отец, громко стучавший деревянным протезом по мостовой, хозяйство свое нехитрое еще как-то поддерживал, а как помер, так все и развалилось. Зойка в загулах, бабка, Зойкина мать, старуха.

Однажды Зойка исчезла — говорили, ушла с проходившим мимо цыганским табором. Правды никто не знал, и спустя полгода Зойку «похоронили». А еще через пару недель «покойница» вернулась — пузатая — и в срок родила дочь. Вот только на цыганку белобрысая Танька была несколько не похожа.

Растила Таньку полуслепая бабка. Да как растила — и смех и грех. Сидела девчонка в кустах и ковырялась в головке подсолнуха, вытаскивая сыроватые сладкие семечки. С детворой на улице не гоняла — выйдет за калитку, постоит молча и — обратно в дом.

Дразнить ее не дразнили — уже тогда, в детстве, Танькина красота ослепляла, а вот придурковатой считали.

В доме напротив, в большой, крепкой, как и сам дом, семье Харитиди чернявые и шумные, но дружные дочери и снохи убогих соседок жалели — когда полкурицы, только что зарезанной, еще истекающей теплой кровью, отнесут. Когда ведро помидоров — у «лентяек» даже это не растет. И это на жирной, словно маслом пропитанной, теплой южной земле! То подкинут яиц из-под пестрой не-

сушки, а то угостят пахлавой, приторно-медовой сладостью, так любимой этим шумным и щедрым народом.

Зойка благодарила скупно: «А это еще зачем?»

Губы поджимала, но брала, чуть скривив в смущении и словно в презрении красивый, сочно покрашенный рот.

А бабка благодарила слезно и торопливо, мелко крепясь трясущейся и сморщенной рукой — хорошие люди, хоть и не наши. Христопродавцы.

А двенадцатилетняя Танька на бабку цыкнула:

— Наши! Потому что православные. — И с усмешкой добавила: — Что б ты понимала!

Бабка внучке не поверила, но в спор не вступила — только заворчала и махнула рукой.

Харламбий Харитиди влюбился в соседку лет в десять. Или по крайней мере стал на нее заглядываться. Это заметила мать — заметила и усмехнулась. Да гляди на здоровье! Хоть все глаза высмотри. Глядеть-то гляди, а из башки дурной выкини. Не нашего поля!

Так и сказала сыну спустя пару лет, когда шалый сын мотался под соседским забором и перекидывал туда записочки с камушком, перетянутые шпагатом и сорванные в родительском саду пышные и пахучие розы.

А уж когда он объявил о женитьбе... Вот тут разразился нешуточный и громкий скандал.

Кричали все — большая семья, южный крикливый народ. Грозилась выгнать из дому, грозилась отринуть от родни. Грозилась, грозилась... Потом уговаривали. Братья и шурья уселись на лавки широкими задами и до-

стали по-родственному бутылочку. Хлопали «бестолочь» огромными ручищами по мускулистой спине — и снова уговаривали забыть эту «девку».

Случилась и драка — так, короткая и незлобная. И снова возникла бутылочка. Напоили Харлампия, а толку чуть — все равно мотал большой, кудрявой, черной упрямой башкой и повторял как заведенный: «Танька, Танька — и все. Не примете — уйду туда, к ней. Достанете — уедем совсем. Страна большая, нам места хватит».

Родня уложила пьяного олуха и дружно расселась за огромным обеденным столом на крытой летней кухне. Все вперемежку — родители, сестры, братья и прочая, уже давно «родная кровь». Посовещались — шумным шепотом, боясь разбудить «женишка», да где там! Спал счастливый и несчастный Харлампий крепким сном, из пушки не разбудишь.

Посовещались, переругались и постановили — жениться дурака «отпустить». Парень горячий — как бы чего не случилось! А эту моль белобрысую... Ну, потерпим. Куда деваться! Горе, конечно... Да что тут поделать. Нет сейчас у детей уважения — ни к родителям, ни к обычаям. Такие времена!

Зойка узнала о грядущем событии от присланных сватов — все честь по чести, надо же оставаться людьми! Сватов за стол усадила и налила чаю в разнокалиберные чашки. Сваты поморщились и достали шампанское и шоколад.

Зойка оживилась, махнула бокал и — принялась нахваливать свой «товар».

Сваты быстро свернулись, скупое и с явным недоверием ответив:

— Посмотрим!

Теперь счастливый Харлампей прогуливал законную невесту по родной улице и набережной, где угощал любимую мороженым крем-брюле.

Сыграли свадьбу, и молодые зажили. В доме Харитиди им выделили большую светлую комнату окнами на юг. Харлампей просыпался по-рабочему — рано и, подперев лобастую голову огромной ладонью, со счастливой улыбкой любовался спящей молодой женой. Танька морщилась от солнца, сводила тонкие светлые брови и зарывалась лицом в пышную пуховую подушку, одетую в крахмальную кружевную наволочку.

А он целовал ее в тонкое белое плечо и резко выскакивал из теплой постели, пахшей душистым, медовым телом жены.

Надо было торопиться на работу. Стройка начиналась с раннего утра — строили новый санаторий, очередную советскую здравницу.

На кухне терлись широкими задами женщины Харитиди — готовили мужьям и братьям сытные завтраки. Ставили и перед ним большую тарелку с дымящимся мясом, миску с помидорами и сдерживали тяжелые вздохи. Где это видано, чтобы жена не провожала мужа на работу? Не подавала полотенце у уличного домоуника, не ставила перед ним тарелку с жарким, не наливала густой, почти черный от крепости чай?

Где это видано? Где видано, чтобы молодая спала и не шелохнулась? В каких приличных домах? Когда сноха вставала позже свекрови? Позор, одно слово! Снохи и золовки бросали друг на друга красноречивые взгляды, снова громко вздыхали и осторожно качали головами.

А счастливый муж жадно и торопливо проглатывал завтрак — жадно, потому что после ночи любви сильно проголодался. А торопливо, потому что надо было еще успеть заскочить в комнату и... Еще раз поцеловать молодую жену в теплое плечо. А если уж совсем повезет — то в чуть приоткрытые, горячие и такие сладкие губы.

Искус обрушиться рядом на белые простыни был так велик, что становилось страшно — вот опоздает он на работу, и точно — совсем засмеют!

И братья, и товарищи! Подденут: «Что, брат? Такая сахарная, что и не оторваться?»

Он, конечно, не ответит, пропустит мимо ушей, только сильнее сожмет упрямый рот.

Что они понимают? У них — все не так.

Потому что так, как у него, Харлампия... И вообще, у них с Танькой... Нет ни у кого на свете! Вот это — наверняка.

А Танька спала. И снились ей розовые облака и голубое — вот чудеса! — солнце. Проснувшись, она пугалась своих снов — ну у кого такое бывает? И поделиться страшно. Никто не поймет — даже муж.

Ее не заботили косые взгляды родни. Казалось, ее вообще ничего не заботило: хозяйничать ей было не нуж-

но — полный двор опытных женщин, на работу ее не отпускал муж. Так, почитает, сбегает к матери — благо совсем близко, напротив. Посидит у себя в саду под черешней, поглядит в ясное небо. Послушает мать — да что там слушать! Стыдилась она матери — ну, когда та под газом ходила. Стыдилась ее громкого голоса, грубых ругательств, насмешек над новой родней.

— Не поддавайся, Танька! — смеялась она. — А то запрягут тебя, как вола ломового! Знаем мы этих!

Кого «этих», Танька не уточняла. К вечеру мать начала нервничать и поглядывать за калитку. Было понятно, что ждет очередного хахалю.

Танька медленно поднималась и медленно шла к калитке. В новый дом идти не хотелось — в своем старом, маленьком и знакомом, было лучше — привычнее, уютнее, а главное — тише.

В мужнином доме не говорили — орали. Семья большая. Пока всех за стол соберешь — горло сорвешь, ей-богу. Детей полон двор, носятся весь день, старики сидят под тутовым деревом — там самая тень. Стариков было трое — бабушка Елена, сухонькая, седенькая, в глухом черном платье и косынке на голове. Ее сестра Кула — та еще древнее, лет сто, не меньше. Кула уже не разговаривала — смотрела в одну точку и вытирала сухой ладонью постоянно набегающую слезу. И дед Павлос — муж этой самой Елены. Мать и отец Харитиди. Древние, как тутовое дерево, под которым они сидели. Собственно, он, Павлос, и застолбил в тридцатые годы

эту землю на пригорке — тогда совсем сухую пустошь с одиноким кустом ореха у самой дороги. Привел туда молодую пузатую жену — рожать Елене было совсем скоро, — и заселились они в землянке. Там, в землянке, и родился их сын Анастас, брат Харлампия. А спустя год на земле уже стоял дом — в три комнаты, вытянутый и плоский, рассчитанный на большую семью. Детей Елена рожала дома, и Павлос, услышав протяжный и глухой стон жены, мигом бросался на соседнюю улицу — за повитухой.

Та, полная, даже раздутая какой-то сердечной болезнью, с трудом поспевала за беспокойным папашей.

— Успеем! Не кошка ж! — причитала повитуха, припадая на обе ноги.

Не кошка, а два раза не успели — одного Елена уже выдавила из своего обширного нутра, но подхватить успели. А вот девочку не спасли — лежала она у Елены в ногах, обернутая, словно спеленутая пуповиной, и всем было ясно, что дело тут — увы — уже непоправимое.

Пятерых родила Елена — могла бы и больше. Крепкая была баба, здоровая. С быком управлялась точно заправский мужик. А заболела совсем рано — едва перевалило за полтинник. Слабая стала — ни ножа в руке удержать, ни кастрюлю поднять, ни курицу ощипать. Болезнь была неизвестная и непонятная — врачи, по которым таскал жену Павлос, качали головами и говорили, что ослабела она от родов и тяжелой жизни. Павлос не верил — когда это женщины ослабевали от родов и до-

машней работы? И верить врачам перестал. Только молился, чтоб бог подержал на земле Елену подольше.

Хозяйкой в доме стала старшая дочь Христина.

Братья Харитиди — Анастас, Димитрос и Харлампей — были непьющие и работающие. Сестры, Христина и Лидия, сами искали братьям невест — серьезное дело привести в дом человека. Со всеми сладили, даже с капризным Дмитрием. А вот с Харлампием, дурачком, не смогли...

Танька приходила домой аккурат к приходу мужа. Ждала не на кухне, где вечером собиралась семья. Ждала у себя в комнате.

Он вбегал в комнату запыхавшись.

— Гнались? — улыбалась счастливая Танька.

Харлампей мотал кудрявой башкой и махал рукой — какая разница!

И вправду, какая разница? Они так успевали соскучиться друг по другу, что неведомые силы подбрасывали, кидали в объятия, словно приклеивали друг к другу и... Они застывали.

Через час, надышавшись друг другом, они выходили к столу. Ужин уже подходил к концу, и проворные хозяйки спешно и ловко накрывали чай.

Глядя на молодых, кто-то усмеялся, а кто-то недовольно хмурился.

А тем все нипочем! Тарелку с горячим супом ставила перед братом Христина, сестра. Чай наливала жена брата Агния.



Танька отламывала по кусочку хлеб и макала его в тарелку мужа. После чая, не принимая участия в шумных и бесконечных семейных разговорах, они молча вставали из-за стола, брали друг друга за руки и снова уходили к себе.

А на огромной, словно танцплощадка, летней веранде — три сдвинутых вместе стола, длинные лавки, две газовые плиты в ряд, два холодильника, не справляющиеся с жарой и оттого шумно фыркающие и трясущиеся, словно больной в лихорадке, — еще долго сидела семья, три поколения очень похожих друг на друга людей.

Чужих здесь не было — чужая женщина с белыми, летящими за тонкой спиной, легкими, словно ветер, волосами уже крепко спала в своей комнате, прижавшись острой и нежной скулой к могучему, темному от солнца и колючему от жестких, курчавых и густых волос плечу мужа.

На веранде народ постепенно рассасывался — сначала загоняли в дом ребятню. Потом подростков. Дальше провожали стариков, нежно поддерживая их под острые локти.

Потом уходили мужчины — завтра снова рабочий день. А женщины, усталые, замученные, вытирали мокрой тряпкой липкие клеенки, заталкивали вечно не помещающиеся кастрюльки и плошки в холодильник, гоняли веником упавшие со стола крошки и корки и, широко зевая, не забывали в который раз упомянуть вредных соседей, взлетевшие на базаре цены и, разумеется, дурака братца с «этой его белобрысой нерадивой козой».

Поговорили, и ладно. Последняя шелкала выключателем и наконец, устало перебирая ногами, шла к себе. Услышав за дверью храп мужа, шептала: «Слава те, Господи», — и тихонько, словно тень, просачивалась в комнату. Не дай бог разбудить — а то начнется! Харитиди — мужики крепкие, разбуди среди ночи — пожалуйста, никаких отговорок.

Знаем мы этих мужиков, им-то все нипочем! А сил-то совсем не осталось...

Дай бог доплестись до кровати...

Прошло два года, а Харлампий с Танькой ничуть не остыли. Все было по-прежнему. По-прежнему Танька читала в саду свои затрепанные книжонки, по-прежнему не спешила помочь золовкам и невесткам, словом, по-прежнему плевала на всех. И всем надоело обсуждать эту тетеху — больная на голову, что говорить. А то, что опоила этого дурака, и так понятно. Да кто бы в здравом уме из мужчин Харитиди смирился с таким позором!

Не сама опоила, так ее мать, Зойка-пьянчуга. Захотела пристроить девку на сытные хлеба! И под боком, напротив, и как сыр в масле.

Зойка к Харитиди не заходила — гордая! А если и случилось, то за стол не садилась, хотя жадно оглядывала великолепие щедрого и обильного стола.

Да и чувствовала отношение — что говорить. И к себе, и к своей бестолковой Татьяне.

Иногда Христина или Лидия бросали в сердцах:

— Кого ты вырастила, Зоя?

Та зло прищуривала все еще красивые глаза и с недоброй усмешкой заявляла:

— И что? Вот вы, курицы, целый день хлопчете, целый день у плиты и у корыт! А мужики ваши вам за это хоть раз спасибо сказали?

Сестры, набычившись, молча ожидали продолжения.

И Зойка воодушевленно продолжала:

— Вот именно! А Таньку мою дурачок ваш на руках носит. Пылинки сдувает. И никто ему, кроме нее, нерадивой, не нужен! Что, съели? — Зойка победоносно оглядывала растерявшихся женщин.

Наконец кто-нибудь отвечал:

— Стыда на вас нет!

И все подхватывали эти слова, и начинался негромкий шелест.

— Нет! — соглашалась Зойка. — Объела вас моя Танька? Объегорила? Отобрала чего? Украла? Может, уважения не выказала?

Сестры удрученно молчали. Ела Танька меньше воробья, грубить не грубила, просить ничего не просила. Дурного слова ни про кого не сказала. Словно не живая баба в дом заселилась, а бесплотная тень.

— Не нравится — заберу к себе. Вместе с зятем! — пугала наглая Зойка и хлопала ладонью по столу.

Сестры вздрагивали и беспомощно смотрели друг на друга. Еще не хватало! В эту разруху, пьянку и нищету! Не приведи господи!

— Дуры вы, — с превосходством бросала Зойка, обернувшись на них у самой калитки, с удовольствием повторяла: — Дуры набитые! Там ведь... Любовь такая... Красивше, чем в иностранном кино!

Женщины Харитиди вздрагивали от громкого стука калитки и, тяжело вздыхая, отчего-то сильно смущенные, быстро, словно боясь опоздать, принимались заканчивать свои бесконечные дела.

Смотреть друг на друга не хотелось. Сплетничать тоже. Ну их к чертям! И Зойку, нахалку, и Таньку, дуреху. А про болвана этого, любимого братца, вообще говорить не стоит.

Нет, не так — за два года все изменилось! Еще жарче стали объятия, еще крепче. Пусть животная, ненасытная страсть чуть отодвинулась в сторону, чуть отошла, а вот нежность и притяжение стали еще сильнее. Теперь они спали, не разнимая рук, переплетясь ногами, прижавшись друг к другу так крепко, почти до боли, боясь ослабить их общую схватку. Он просыпался среди ночи и начинал задыхаться — ах, если бы можно было не расставаться. Ни на миг, ни на минуту! Если бы можно было подхватить Таньку на руки и отнести на эту чертову стройку. И пусть сидит на скамеечке, книжки свои читает. А он, он обернется в минуту раз — и снова за мастерок. Просто будет знать, что она — рядом. За спиной. Дышит, листает страницы, дремлет, прикрыв глаза, заплетает свои небесные волосы в рыхлую косу, которая распле-

тется минут через десять, или разглядывает огромную коричневую с синим перламутром бабочку, севшую — вот представьте — ей на ладонь. Вот чудеса!

Не отнесешь — засмеют! Ему-то наплевать, но что Таньке пылью дышать, матюги мужицкие слушать! Пусть остается дома — там и прохладно, и чисто. Попьет холодного компота, сгрызет жесткую грушу.

А он — он еще сильнее соскучится. И будет видеть, как соскучилась она.

— Милая моя, милая! — шептал он, глядя на спящую жену.

И нежность была такая, что начинало болеть его здоровое молодое сердце.

А однажды, разглядывая на рассвете тонкий Танькин профиль — нос, скула, припухшая губа, приставший к щеке волос, — подумал: «А ведь я так ее люблю, что даже вот сейчас не хочу! Просто нежность такая...»

Не понял простой Харлампий такой расклад. Разве так бывает? Любить — это точно хотеть! А он ее не хочет. Потому что... да черт его знает почему! Сложно все у них как-то. Не так, как у обычных людей.

От досады он чертыхнулся, осторожно выбрался из кровати и вышел на улицу покурить.

Руки дрожали, и никак не загоралась отсыревшая спичка.

Заклокотала назойливая горлица, и на заднем дворе неохотно, словно по долгу службы, пару раз коротко крикнул петух.

А Харлампий сел на скамейку под тутом, растер голдой ступней упавшие темные ягоды и... Почему-то заплакал.

О том, что беременна, Танька сказала мужу среди ночи, обдав его жарким, смущенным шепотом.

Харлампий вскочил с кровати, подхватил жену на руки и долго, баюкая, как ребенка, носил кругами по комнате.

Танька плакала и смеялась, а он что-то мычал, не переставая ее целовать.

Прозорливые и опытные женщины Харитиди заметили изменения сразу — Танька стала много и жадно есть.

Однажды, стащив из огромного казана еще не остывший румяный голубец, вздрогнула от резкого упрека, раздавшегося за спиной:

— Ну и как? Вкусно?

Танька, покрасневшая, словно ее застали за воровством, оглянулась не сразу.

Позади стояла Христина и с недоброй усмешкой разглядывала растерявшуюся и смущенную Таньку.

Та растерянно кивнула и опустила глаза.

— Так и попробуй. Сама! Ты ж мужнина жена. И не разу ему борща не сварила! — недобро усмехнулась она.

— У меня не получится, — не поднимая глаз, тихо ответила Танька. — Неловкая я. Неумеха. Да и вы тут такие... Хозяйки! Где уж мне...

Христина неодобрительно покачала головой:

— Проще всего. Проще всего так сказать. Не боги горшки обжигают! А ты бы попробовала. Постаралась. Мужа ведь любишь?

Танька покорно кивнула.

— А так не любят! — упрекнула Елена.

Больше Танька на кухне не терлась — ходила в бакалейную лавку, брала каменных пряников, влажных вафель, хлеба и твердых плавленых сырков.

И тихо хрустела у себя в комнате.

К четвертому месяцу она сильно раздалась, отекала и подурнела. Даже золотые волосы потемнели, словно пожухли — будто осенние листья.

А муж ничего не замечал. Любовался ею, как в первые дни. Только по ночам прикладывал ухо к ее разбухшему белому животу и — слушал, слушал...

Рожать Таньку отвезли в Краснодар — было понятно, что есть проблемы. Оказалось, у «мамочки» нездоровое сердце. По дороге в больницу Танька все больше спала, привалившись к плечу мужа. В роддоме по лестнице поднималась тяжело, словно больная.

Такой он запомнил ее на всю жизнь — серая лестница из известняка, крашенные перила, и Танька — тяжело, медленно идущая вверх. И Танькины ноги — разбухшие, рыхлые, с темными пятками — совсем не ее легкие ноги.

На последнем пролете она обернулась, и лицо ее исказилось от неизвестности и страха. Сдерживая слезы, она попыталась улыбнуться, но это подобие улыбки было скорее жалкой гримасой.

Он тоже попытался ответить улыбкой и тоже не справился. И крикнуть вслед ей «люблю» не получилось. Не вырвалось из горла это «люблю». Не произнеслось.

Врач нервно крутил в руках шариковую ручку, отводил глаза и убеждал Харлампия (а скорее самого себя), что все будет «как надо». Да, сердце... не очень. Плод большой. Очень большой. Наверняка парень. Измучится она, но... «Все будет как надо», — снова неуверенно повторил он и посоветовал будущему папаше «хорошо отдохнуть».

Харлампий слушал молча, опустив голову, и на прощание хриплым шепотом попросил:

— Ну... вы уж... постарайтесь.

Ночевал он на скамейке в сквере напротив роддома. Был октябрь, ночь была прохладной и, как всегда, очень темной. Он поднял воротник старого пиджачка, натянул рукава и постарался свернуться клубком.

— Завтра, — шептал он себе, — завтра все будет нормально. Завтра ей станет легче. Потому что завтра родится ребенок. Сын.

Только родился не сын. Это была девочка, дочь. Огромного, надо сказать, для девицы размера — четыре пятачок! И где вы такое видели?

И Харлампий напился. С горя или с радости? Сам не понял. Орал под окном палаты. Громко орал.

Врач отказывался верить родне, что он, Харлампий, мужик непьющий.

Из роддома Танька вышла бледная и еще более тощая. «Молока не будет», — уверенно объявили жен-



щины. И оказались правы — маленькая, совсем девичья, Танькина грудь молока не давала. Кормила ребенка золовка Агния. Ее сыну было уже полтора года, а молоко все не убывало — малыш то и дело подбегал к матери и требовал расстегнуть пуговицы на ее уставшей груди.

Мария оказалась точной копией отца, а значит, и всех Харитиди. Девочку мацали, тискали, целовали и не спускали с рук.

— Наша! — с гордостью признала семья. Ничего от той — ничего!

Впрочем, Таньку они почти простили — верующие люди, ни у кого не было в сердце злобы. А если что и было, так только разочарование и беспокойство — как она с дочкой-то справится? Коза наша безрукая.

Матерью Танька оказалась тоже неловкой — пеленала девочку плохо, укачивать не умела. И женщины, в который раз тяжело вздыхая, забирали у нее ребенка и ловко со всем справлялись. А Танька снова садилась в тени, качала коляску и с интересом, словно невиданную зверушку, часами разглядывала дочь.

Харламбий, придя с работы, брал дочку на руки и не выпускал — вместе купали, вместе кормили. Мужики неодобрительно качали головами — и где это видано? Чтобы мужик? Да еще и пеленки стирал? Позор, не иначе!

Зойка зашла один раз — тихая, опухшая от пьянки, — с радости, объявила она. Глянула на девочку и поморщилась:

— Ваша! От нас — ничего! Ничего от материной красоты не взяла! Галка и есть галка.

Харитиди махнули рукой — что с нее взять?

«Зимняя» кухня была тесной и темной, готовить на ней не любили, и до самых холодов, надев теплые боты, душегрейки и обмотавшись платками, замерзшими красными руками они чистили овощи, резали, терли и месили — все на улице. Из рта шел пар, было зябко и неуютно, но выгнать оттуда их мог только дождь или мороз. Впрочем, какие морозы! И восемь по Цельсию считалось зимой.

Но прошли и зима, и весна, и снова настало лето. Мария уже всю ковыляла по двору на толстеньких и крепеньких ножках. Танька учила с дочерью стишки про бычка и про мячик. Читала ей книжки — про муху-цоко-туху и Бибигона.

Девочка слушала тихо, почти замерев, с открытым ртом.

А в начале июня Танька утонула. Пошла на море одна — вода была еще холодная, местные в июньской воде не купались. Христина уговаривала ее не ходить, а та заупрямилась — говорила, что стосковалась по морю и, мол, она быстро, всего-то на час.

Нашли ее на третий день, когда Харлампей, почти теряя сознание, уже валился с ног, прочесывая берег.

На похоронах он застыл и не отвечал на вопросы. Глаза его казались безумными, словно стеклянными. Не видел, не слышал — словно умер вместе с любимой. А когда гроб с бедной Танькой стали опускать в каменистую зем-

лю — кладбище было у подножия горы, — он, качаясь, медленно побрел к выходу, не попрощавшись с женой.

Сдвинулся — решили все. Просто сдвинулся с горя.

Он пролежал почти месяц — не пил, не ел. Смотрел в одну точку и все время молчал. Заходили братья, пытались поговорить. Заходили сестры, пытались накормить, упрасивали поплакать — так будет легче, уверяли они.

Харламий молчал. А через месяц встал и побрел на кладбище. Там провел сутки. А когда вернулся, молча поел и на завтра пошел на работу.

Мария была девочкой пугливой и тихой, словно понимая, какое горе и сумятицу внесла ее непутевая и несчастная мать в жизнь семьи.

Зоя, Танькина мать, пила беспробудно. Надев черный платок, шаталась по улицам и делилась с прохожими «горьким горюшком». Люди старались обходить ее стороной. А вскоре Зойка исчезла.

Подперла калитку булыжником и испарилась.

Харламий сидел за столом, курил и смотрел в одну точку. Вышла Христина, держа на руках малышку. Харламий дернулся, привстал и... Снова тяжело опустился на лавку.

Сестра, растерявшись, заметалась по двору. А он уронил голову на руки и молча заплакал.

Девочку подхватила жена Павлоса. И поднесла к Харлампию.

— Твой папа, смотри, Мария! — сказала она и протянула малышку отцу.

Тот резко поднялся, отпихнул невестку и пошел в дом. Девочка, спокойная от природы, вдруг разразилась таким отчаянным криком, что сестры испуганно переглянулись и принялись малышку качать и тетешкать.

Только спустя три года Харлампий подхватил дочь на руки — Мария споткнулась о кривой корень тута, упала и заголосила.

Он беспомощно оглянулся и, увидев, что поблизости никого нет, подлетел к малышке и взял ее на руки.

Девочка тут же замолкла и с удивлением уставилась на спасителя. А потом вдруг улыбнулась и легонько стукнула его полной ладошкой по небритой щеке.

Христина видела в окно, как брат прижал дочку к себе и стал носить по двору, шепча ей что-то на ухо.

Мария молчала, крепко прижавшись к отцу.

Детство Марии было счастливым — наверное, так. Нянек — куча, детворы — полный двор. То один дядька подхватит на руки и подбросит до потолка, то другой, то какая-нибудь из теток сунет в рот леденец или пряник и в который раз поправит распушившуюся толстую косу.

То, что Харлампий — ее отец, она усвоила быстро. А вот Христина? Или Агния? Или Лидия? Кто же мать? Было непонятно и странно. Лет в пять Мария поняла, что Христина, смотрящая за ней больше всех, отцу не жена. Но спит почему-то Мария в комнате у Христины.

Просветили, конечно же, дети, объяснив ей, что они — брат и сестра. А вот про мать Марии все молчали...

А она, будучи скрытным и молчаливым ребенком, спросить не решалась.

Однажды пришла в дом странная женщина — сгорбленная, сухая, с большими запавшими глазами, в черном платье до полу и в черном глухом платке. Ее называли Зоей, и было件нятно, что она из старых знакомых.

Зою кормили на кухне, окружили плотным кольцом, и женщины Харитиди о чем-то тихо шептались со странной и страшной женщиной, кивая головами в сторону Марии.

Потом «черная» женщина подошла к ней и подняла ее подбородок. Марии было больно — рука женщины была крепкой и цепкой. Она мотнула головой, пытаясь вырваться.

Тут женщина ослабила хватку, погладила Марию по голове и чуть дрогнула сухими губами:

— Иди, девочка! Иди, маленькая!

Мария, готовая к бегству, сделала шаг назад и тут услышала:

— Совсем на мою не похожа! Словно и не было ее никогда, Таньки моей!

Спустя много лет Мария узнала, что это была ее бабка Зоя, ушедшая в монастырь в далеком Поволжье.

Больше бабку Зою Мария не видела.

Отца пытались женить. Он отмахивался и даже слушать о сватовстве не хотел.

Старая Елена совсем слегла, когда Мария пошла в третий класс. И, взяв с сына клятву, спустя пару месяцев умерла.

Мария помнила, что отец куда-то уехал почти на неделю и перед поездкой был хмур и молчалив. С дочерью прощался долго, словно извиняясь перед ней.

А через неделю женщины Харитиди принялись готовить праздничный стол.

Мария поняла — будут гости. И вправду появились гости. Точнее — гостья, которая шла рядом с отцом, несшим старый маленький коричневый чемодан на металлических скобках и немалый узел из старого плюшевого покрывала.

Гостья была никому не знакома — за спиной Харлампия шла молодая женщина хрупкого вида с большими черными и очень испуганными глазами.

Мария запомнила, что ботинки у женщины были странные, мальчуковые, темно-коричневые, с сильно потертыми белесыми носами.

Навстречу брату и женщине вышла Христина, после смерти бабушки негласно считавшаяся главной из женского общества Харитиди.

— Добро пожаловать, — взволнованно сказала она и обняла женщину в стертых ботинках.

Мария увидела, что вещи — чемодан и плюшевый узел — отец занес в свою комнату.

И сердце ее почему-то дрогнуло.

— Дядька жену привез, — зашептали старшие дети, а Мария, услышав, бросилась вон со двора, обескуражив уже всю шумно галдевшую семью, рассаживающуюся за обильно накрытым праздничным столом.

Нашел ее Харламбий только под вечер. И где? В брошенном домишке бывших соседей. В Танькином домишке напротив.

Впервые Мария, отогнув хилую, почти сгнившую штакетину, забралась на соседний участок, дрожа от страха, открыла входную дверь и — уснула, свив гнездо из старых тряпок и пахнувших тленом и прелью подушек, — прямо на диванчике, в сенях.

На любимом Танькином месте.

Он схватил девочку на руки, прижал к себе со всей силой.

Уткнувшись в густые дочкины волосы, громко, в голос, пугая все еще спящую девочку, страшно, по-волчьи, завыл.

И недетским басом ему завторила испуганная и сонная дочь.

Жену ему нашли — списались с дальней родней — в глухой деревне под Кировом. Эта совсем молодая женщина, воспитанная — ирония судьбы — мачехой, судьбе своей покорилась безропотно. За вдовца с ребенком? Ну, значит, так. Зато она знала, что едет в большой курортный поселок, почти город, на море, в богатую и дружную семью, где думать о хлебе насущном не придется. А все остальное приложится, даст бог.

После глухой деревни и отчаянной бедности, после холодных и долгих зим, после мачехи, трех ее детей, изнурительного деревенского труда, после куска хлеба, до-

бытого почти с кровью — с кровавыми мозолями, — ей наверняка показалось, что она попала на небеса.

Женщины Харитиди приняли ее хорошо, с открытыми, готовыми к любви сердцами. Комната — светлая, с прозрачными шторами, с широкой дубовой кроватью и шелковым покрывалом — показалась ей раем. Не надо было вставать в три утра и выгонять на выпас скотину, не надо полоть огород, таскать из колодца воду и драить занозистый, черный от старости пол.

Сладкие фрукты падали на голову, помидоры краснели и наливались от щедрого солнца на заднем дворе на огороде, куры — жирные, сытые — клевали упавшие ягоды и рассыпанное зерно.

Сестры и золовки мужа дарили ей свои платья и обувь, а старшая, Христина, вдела ей в уши золотые сережки — подарок на свадьбу.

Про девочку, дочь мужа, она не думала, как не думала о ней ее мачеха. Сыта, здорова, тетки хлопочут — что ей еще? Свою любовь она предлагать и не пыталась — не от злого сердца, а от скупости души, полагая, что Мария в ней не нуждается. Словом, девочка, молчаливая, тихая, с застывшим взглядом черных маслянистых глаз, в расчет не входила.

В расчет входил муж, Харлампий. Нет, грубым он не был! Но... И ласки она от него не увидела... Ни разу в жизни.

Впрочем, что она знала про ласки? Так проживал жизнь и ее отец, и его братья. Так жили ее собственные женатые братья. Так жили и женщины Харитиди: честно



и скупно радовались каждому дню — бесхитростно, не выпрашивая у бога ничего лишнего. Здоровью детей, зарплате мужей, хорошему урожаю, нежаркому лету, густому варенью и пышному тесту. Трудились — с утра до заката, встречали мужей и шли с ними в спальни.

Потому что так надо. Потому что надо рожать. Потому что женщины.

А про ласки они и не ведали.

Потому что про Таньку и Харлампия давно позабыли. Про то, как еще может быть в женской жизни.

Муж с ней почти не разговаривал: как дела? Что на ужин? Что на базаре?

Она отвечала — коротко, сдержанно. Протирала клеенку, прежде чем поставить перед мужем тарелку. Подкладывала добавки, подливала компоту.

Садилась напротив и смотрела, как он ест. Молчали. Потом он кивал и уходил на «мужскую» половину — другой стол террасы — смотреть футбол или играть с братьями в шашки.

А после, переведя дух, направлялся к себе. Она боковым зрением среди кухонной колготни и трепа с невестками тут же улавливала это и спешила за ним.

Он уже лежал на кровати, глядя в потолок. Она быстро снимала платье и юркала под одеяло.

Он чуть отодвигался к стене и отчего-то вздыхал.

Она тоже лежала на спине и почему-то замирала в волнении.

Спустя пару минут он, громко крикнув и тяжело вздохнув, клал большую и сильную руку на ее съежившуюся от волнения грудь.

Она чувствовала, как холодеют ее руки. Он чуть подтягивал ее к себе и, словно коршун, не открывая глаз, склонялся над ней — огромный, тяжелый, прерывисто и шумно дыша.

Она вся сжималась — от непонятного страха и боли где-то внизу живота — и пыталась податься к нему. Он привставал, словно отдаляясь, и, быстро закончив свое мужское дело, молча отваливался на спину.

Засыпал он в ту же минуту — прямо на спине, сложив руки на волосатой груди.

А она тихо, беззвучно плакала, коря себя за эти фокусы и глупое ожидание того, что ей было и вовсе неизвестно, но женское чутье упрямо подсказывало, что все бывает не так. А как? Она и не знала.

Да, кстати, узнать ей так и не довелось — женщиной она была честной.

А про догадки свои скоро забыла — не до того! А может, она и вовсе фантазерка? И нет ничего на свете, что называется смешным словом «любовь»?

Через год после их скромной свадьбы она родила сына.

И уж тут — ну, естественно, — совсем стало ни до чего.

Мальчик был болезненным и беспокойным, с рук не сходил.